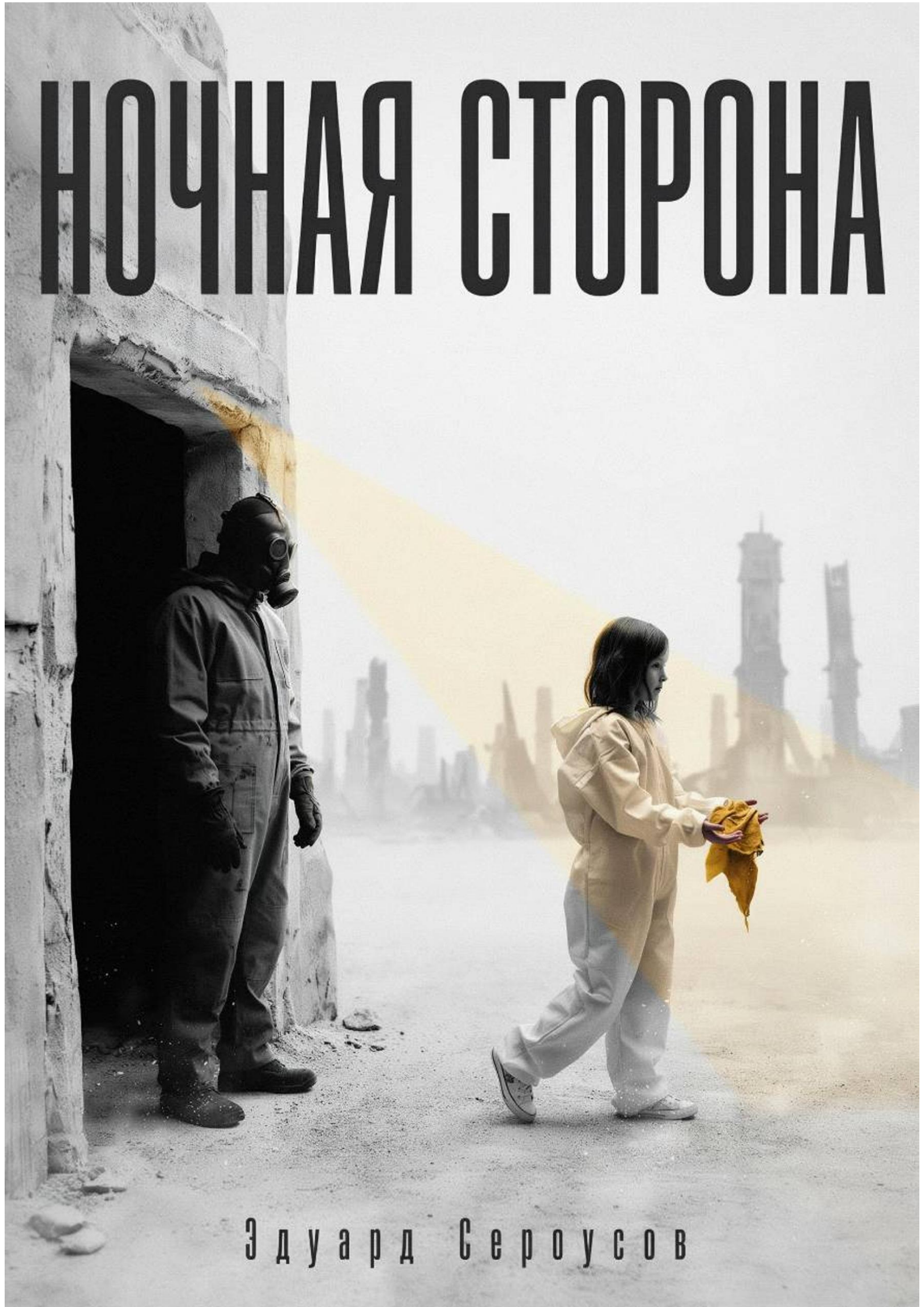


НОЧНАЯ СТОРОНА



Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов

Ночная сторона

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Ночная сторона / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Земля сорок лет жила под рукотворным зонтом: распылённой в стратосфере пылью, отражавшей часть солнечного света. Зонт остудил планету, но точил озон — тонкое сито, отделявшее самый злой свет за порогом атмосферы. После вспышки далёкой звезды озон надломился окончательно: день стал смертельным повсюду. Марк когда-то проектировал глубокие убежища и одним движением кисти ставил пометку «закрито» над целыми очередями. Теперь он держит внешний шлюз сумеречного поселения и однажды впускает женщину с ребёнком за спиной. Мать умирает в тамбуре, девочка Ая остаётся в его руках. Повесть о тени, которая стала единственным милосердием, о свете, который убивает, и о цене старых пометок.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. У ворот	6
Часть вторая. Учить страху	11
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Эдуард Сероусов

Ночная сторона

«У нас есть месяцы. Стройте для всех — или не стройте вообще». — И. Соколова,
последняя трансляция

Часть первая. У ворот

Женщина появилась там, где живых не оставалось.

Марк держал внешний шлюз — смену, которую на Кромке не любил никто, потому что у ворот ничего не происходило, а когда происходило, лучше бы не происходило вовсе. Он сидел у смотрового люка в той полутьме, к которой здесь приучали всех, и считал минуты до колокола. Считать он умел. Когда-то он считал места в убежищах и людей, которые в эти места не помещались; теперь считал минуты, фильтры и тень, и разница была лишь в том, что прежний счёт убивал на бумаге, а этот убивал сразу.

Он увидел её в смотровую щель — пятно, оторвавшееся от мёртвой улицы под небом цвета снятого молока. Сначала принял за обман глаз: так дрожит перегретый воздух над спёкшейся коркой, так рябит к концу смены, когда смотришь слишком долго в одну точку. Потом у пятна появились руки. Оно бежало.

Колокол Зои отзвонил четверть часа назад. Это значило: сумерки на сходе, окно закрывается, последняя тень утончается до нитки. Это значило, что снаружи уже нельзя.

— Поздно, — сказал он. Не ей — себе. Костяшкой постучал по раме смотрового люка, по привычке, будто проверял, держит ли металл. Металл держал. Держала и женщина — на ногах, хотя по тому, как её несло, держаться она давно перестала.

Он видел таких. Не с этой стороны ворот, а после — на корке, наутро, когда выходили подобрать то, что осталось, и вынести то, что не дошло. Свет не оставлял красоты. Он работал ровно и без злобы, как работает доза: считает минуты, потом начинает считать по-другому. На корке это называли просто — «отметился». Свет отмечал человека, и человек переставал быть.

Женщина была в чужом, не по росту костюме — латаном, с фильтром, который сипел даже отсюда, сквозь две переборки. Так дышит фильтр, отдавший всё. На спине у неё что-то горбилось, перетянутое ремнями крест-накрест. Не сразу — груз вдруг повернул голову.

Ребёнок.

Он мог не открывать. Правило окна было простым, как все правила, на которых ещё держалась Кромка: после колокола шлюз не работает на впуск, потому что впуск — это полоса света в тамбур, доза на всех, кто внутри. Цифры были на его стороне. Цифры всегда были на его стороне; в этом и состояла его прежняя профессия — стоять на стороне цифр против тех, кто в них не помещался. Он знал, как это делается. Он знал это лучше, чем хотел бы знать что-либо.

Он открыл.

Створка пошла с воем — звук плохо смазанного привода, который он чинил дважды и который снова сипел, и который он так и не собрался починить как следует, потому что на Кромке всегда было что-нибудь важнее. Полоса бледного света легла в тамбур, узкая, как лезвие. Женщина ввалилась в неё вместе с дочерью, и он, не давая себе додумать, рванул рычаг обратно. Створка закрылась, отрезав молочное небо. Вой стих. В тамбуре стало тихо так, как бывает тихо только под землёй, — глухо, без отзвука.

В аварийном красном женщина опустилась на колени — медленно, как опускается то, у чего кончилась несущая способность. Ребёнок сполз с её спины и сел на холодный пол, не выпустив ремней. Марк присел над ней, отстегнул хрип-фильтр, хотя уже знал, что поздно. Под маской открылось лицо — молодое и уже не лицо: свет, успевший достать её на той стороне, снял кожу там, где её не закрыл капюшон. Скула, висок, угол челюсти. Она смотрела на него. Зрачки ходили, ловя, теряя.

— Внутри? — спросила она. Губ почти не было, слово вышло одной формой, без звука.

— Внутри, — сказал он.

Она перевела взгляд на девочку. Что-то отпустило в ней — не боль, а удержание, то усилие, которым она держала себя стоящей последние улицы, последние минуты, последний свет.

Рука разжалась. Из кулака на пол тамбура выпал смятый клочок — талон, бумажный, истёртый до мякоти, с номером и полустёртой печатью очереди, какие выдавали когда-то в списках на убежище. Их выдавали тысячами. Их выдавали и тем, для кого места уже не было, — потому что отказать в очереди было труднее, чем вычеркнуть из неё потом, одним движением, не видя лица.

Марк его не поднял. Он смотрел женщине в глаза и видел, как они переходят из живого в то, что свет делает со всеми, кого достаёт, — спокойно, без перехода, как гаснет лампа, когда в ней кончается ток. Не было мига. Только что было — и вот уже нет.

Девочка не плакала. Она сидела в красном свете и смотрела на него — серьёзно, оценивающе, как смотрят дети, привыкшие сами решать, кому верить, потому что больше решать некому. Лет восемь. Лицо нетронутое, чистое. Значит, мать несла её под собой и отдавала ей свою тень до конца — до того часа, который оставался ей самой.

— Как тебя зовут, — сказал Марк. Не вопросом. Он не умел вопросом, разучился где-то по дороге сюда.

— Ая, — сказала девочка. И, помолчав, тем же ровным тоном: — Она спит?

Он посмотрел на мать. На талон у её разжатой руки. Поднимать не стал. За мёртвыми приходили в безопасный час и выносили на корку, потому что хоронить было негде, а держать внутри — нельзя. Он знал и это. Он, кажется, знал всё, что касалось того, как обходятся с теми, кому не хватило места.

— Да, — сказал он. — Спит.

Он отстегнул ремни, снял с девочки маску. Под маской было то же оценивающее лицо. Он взял её за руку — не зная зачем, зная только, что нельзя оставить сидеть здесь, в красном, рядом с тем, что было её матерью, — и повёл внутрь.

Кромку строили не для жизни, а чтобы переждать, — и она об этом помнила. Низкие потолки, по которым шли трубы; стены, собранные из того, что нашлось, когда искать было уже некогда; и запах земли из теплиц, тянувший по всем коридорам, влажный и всё более — он давно это чувствовал и старался не называть — сладковатый, как тянет от зелени, которая начала сдавать.

Им встретились двое — из тех, кто не спал в этот час. Они посмотрели на девочку, потом на Марка, и не спросили ничего; на Кромке быстро отучались спрашивать, откуда ребёнок и где тот, с кем он пришёл. Один из них кивнул в сторону тамбура — понял. Понимать тут умели без слов.

В общем коридоре горела лампа. Одна, забранная решёткой, дежурная. На Кромке светили скупой свет был привычкой, от которой отучали, как от опасной сладости, потому что привычка к свету выводила людей наружу в неурочный час, и они не возвращались. Ая, шедшая за ним, остановилась под лампой и подняла к ней лицо.

Она сделала это всем телом — повернулась, как поворачивается росток, не спрашивая разрешения. Глаза прикрыла, но не отвернулась; наоборот, потянулась, привстала на цыпочки, будто хотела войти в этот тусклый круг и омыться им.

Рука Марка двинулась раньше мысли. Он перехватил её лицо ладонью — не грубо, ребром перчатки по щеке — и отвернул в тень, к стене. Жест был старый, отработанный на самом себе за годы: не смотри на свет, не давай ему привычки.

— Не надо, — сказал он.

Ая глянула на него снизу — без обиды, с тем же оценивающим вниманием.

— Это маленький, — сказала она. — Маленький свет не больно.

— Любой, — сказал Марк.

И по тому, как сжалось внутри от этого «маленький не больно», стало ясно: уже встрял. Рука, отвернувшая её лицо, сделала это не для правила и не для цифр. Он включился — а

включаться зарёкся, потому что всё, во что он включался, он же и подводил. Лучше было ничего не держать. То, чего не удержишь, не уронишь.

Спорить она не стала. Достала из-под куртки лоскут — кусок ткани, золотистой, дешёвого блеска, какой бывает на дрянной подкладке, — и, отойдя в тень, как велено, подняла лоскут к лампе. Ткань поймала тусклый свет и засветилась по краю, желтоватым ободком.

— Это её, — сказала Ая, ни к кому. — Мама в нём стояла.

Он не спросил, где стояла. Уже знал, что не хочет знать, и знал, что узнает. С ним всегда так и выходило: то, чего он не хотел знать, он узнавал — позже, до конца, без возможности уже не знать.

У Марка была своя ниша — не комната, выгородка, где помещались койка и ящик. Аю он положил на койку; сам сел на ящик. Думал, девочка уснёт, — дети спят, когда кончается то, что держало их на ногах. Она не уснула. Лежала с открытыми глазами и смотрела, как он достаёт из кармана устройство.

Устройство было мёртвым по любому разумному счёту — старый планшет с треснувшим углом, державший заряд час, не больше, который он подзаряжал ради одного. Экран мигнул, выровнялся, дал ту синеватую муть, которую он знал наизусть.

Там было два файла. Он знал оба наизусть и всё равно открывал — так трогают языком больной зуб, проверяя, болит ли ещё. Болело. Он и держал это устройство ради того, чтобы болело. Боль была единственным, что он считал себе позволенным.

Первый он не стал слушать целиком. Дал несколько секунд — женский голос, ровный, без жалости к слушающему, проступил сквозь шорох умирающей записи:

«...вы смотрите на красивую звезду спиной к небу, которое она убивает...»

Голос принадлежал женщине, которую Марк никогда не видел живой и которую знал лучше многих живых. В записи, он помнил, она перед каждой такой фразой снимала очки и тёрла глаза — устало, без позы, как трёт глаза человек, который слишком долго был прав в одиночку. Он выключил, не дослушав. Эту фразу он мог продолжить сам, и продолжать не хотел.

Второй файл был не голос. Списки. Длинные столбцы — имена, адреса, отметки. Он водил пальцем сверху вниз, медленно, как водят по шву, проверяя, держит ли. Целые районы шли подряд, и у части строк стояла пометка — короткая, его собственная, поставленная когда-то одним движением кисти: *закрывать*. Это значило: убежище, на которое рассчитывали эти строки, построено не будет, а очередь — обрезана, чтобы освободить глубину под тех, кто платил. Он ставил эту пометку быстро, не вчитываясь в имена. Имена он не вчитывал нарочно. Так было легче. Так это и делалось — легко, потому что иначе бы не делалось вовсе.

Он смотрел на эти пометки. Это и был его зуб.

— Кто это, — сказала Ая из темноты. Не испугалась, не пожалела. Спросила, как спрашивала всё, — желая знать.

Он не сразу понял, о ком — о голосе или о списках.

— Та, что говорила правду, — сказал наконец. — И которую не слушали.

— А там? — Ая кивнула на столбцы, которых не могла прочесть.

— Те, кого не пустили, — сказал Марк.

Он погасил экран раньше, чем девочка спросила, кто их не пустил. Она бы спросила. Она спрашивала всё. А он не нашёл бы с ответом — не оттого, что ответа не было, а оттого, что ответ был коротким и стоял рядом, в этой же нише, на этом же ящике.

Уснула она не скоро. Он слышал в темноте, как она ворочается, как дышит — ровно, потом часто, потом снова ровно. Один раз спросила, не открывая глаз:

— Когда мама проснётся?

— Не скоро, — сказал Марк.

— Она устала, — сказала Ая, объясняя это себе, не ему. — Она долго бежала. Я слышала её спину, как она дышит. Сначала тихо. Потом перестала дышать тихо и стала громко. Громко — это когда очень устал.

Он не поправил. Восемь лет — это возраст, в котором ещё можно не знать, что бывает дыхание, после которого не просыпаются. Он оставил ей это незнание, как оставил лоскут, как оставил колыбельную, которую она тянула перед сном, — чужую, оставшуюся от той, в окне, — то небольшое, чего у неё нельзя было отнять. Отнимать он умел. Не отнять — этому он учился впервые, в темноте, рядом с чужим спящим ребёнком, и выходило плохо, и всё-таки выходило.

Колокол разбудил его — два удара, рассветные. Зоя звонила на сходе и восходе сумерек, отмечая часы, которые ещё были безопасны, и те, которые уже нет. Колокол был корабельный, ржавый, найденный неизвестно где; звук выходил глухой, без полёта, и всё равно весь день Кромки держался на нём. Без колокола не выходили и не возвращались; колокол был тут вместо солнца, которому больше нельзя было верить.

Зоя ждала у теплиц. Старше его, обветренная до цвета той земли, в которой вечно держала руки; и руки были в земле сейчас. За её спиной, в нижних лотках, кто-то уже унёс на корку то, что осталось от матери Аи, — Марк увидел пустую каталку у переходного люка и понял.

— Слышала про ночь, — сказала Зоя. Здесь смерть называли так — «ночь», хотя приходила она с другой стороны. — Мать?

— На корке, — сказал Марк. — Не довела себя. Девочку довела.

Зоя кивнула, будто это был ответ на вопрос, которого она не задавала.

— Восемь лет, — сказала она. — Значит, остаётся.

— Я не...

— У нас одно правило, Марк. — Голоса она не повысила; она никогда не повышала. — Одно. Кого впустили — того не отдаём свету. Ты открыл ворота. Ты впустил. Она внутри — значит, она с нами.

Он хотел сказать, что открыл ворота не для того, чтобы остаться с этим; что в нём нет того, что нужно ребёнку; что всё, к чему он прикладывал руку, он же и закрывал. Не сказал. Слова про закрытые двери он держал при себе, как держат то, чем нельзя делиться, не отравив.

Зоя отвернулась к теплицам — и стало видно то, на что он старался не смотреть. Зелень шла желтизной. Не вся, не сразу — по краям листа, по нижним ярусам, там, где растение сдаёт первым. Он знал эту желтизну. Её нельзя было полить или подвязать. Лист, начавший так, уже принял решение; оставалось только смотреть, как он его исполняет.

— Что в нижних? — спросил Марк; считать чужую беду было легче, чем держать на руках свою.

— Корнеплоды, — сказала Зоя. — Они дольше. Им свет не так нужен, они в земле. Зелень уйдёт первой. — Она провела ладонью над лотком, не касаясь, как проводят над больным. — Я перевела всё, что могла, под лампу, на нижний ярус. Лампа жрёт энергию, а энергии в обрез. Дашь свет растениям — убавишь людям. Дашь людям — растения встанут.

Это он понимал лучше, чем хотел бы. Так всегда и считалось: одному дать — у другого отнять, и весь вопрос только в том, чьё имя в каком столбце. Он жил на этом счёте когда-то, по ту сторону стола, и думал, что считает места, а считал людей.

— Сколько так протянем, — спросил он.

— Лев говорит, до осени, — сказала Зоя.

— Я не Льва спросил.

Она помолчала. Где-то наверху, за перекрытиями, лежало небо цвета снятого молока — и с каждым днём задерживалось дольше, уходило позже, обкусывая ночь с обоих концов. Сезон шёл. На той широте, куда они забились, спасаясь от полудня, лето грозило другим — солнцем, которое перестанет заходить. Не жара была страшна, а то, что у них кончалась ночь: тот час тени, в который ещё можно выйти, набрать воды, донести себя до следующей тьмы.

— Меньше, чем все думают, — сказала Зоя. — Сильно меньше.

Она не смотрела на него, когда говорила это. Она смотрела на жёлтый край листа — так, как смотрят на то, что любишь и не можешь удержать.

Часть вторая. Учить страху

Прошло время — Марк считал его не днями, а делениями колокола и метками на фильмах, и по обоим выходило, что времени мало.

Он учил Аю бояться.

Это была единственная наука, которую он мог ей дать, и она была жестокой по самому устройству: чтобы ребёнок выжил, нужно сломать в нём то, что он любит. Свет Ая любила всем собой. Свет для неё был не дозой и не часами — свет был тёплым, и золотым, и стоял в окне. И он, Марк, садился напротив этого тёплого и золотого, чтобы научить ребёнка от него отшатываться. Профессия, в сущности, прежняя: и тогда, и теперь его работой было перекрывать людям доступ к тому, что им нужно, ради того, чтобы они жили. Только тогда он делал это списком, не глядя, а теперь — глядя в восемь лет, в упор.

У него был имитатор — лампа-вспышка, которой когда-то проверяли герметичность стыков: короткий жёсткий разряд, безвредный для кожи, но злой для глаз. Он сажал Аю напротив и говорил одно слово.

— Доза.

И давал вспышку. Ая жмурилась, отшатывалась. Он повторял — слово, вспышка, слово, вспышка, — пока тело её не начинало отшатываться раньше слова, само, как отдёргивается от горячего рука прежде, чем человек поймёт, что обжётся. Этого он и добивался: не понимания — рефлекса. Понимание медленно. На корке думать некогда; там живёт тело, которое успело отшатнуться, и не живёт то, которое успело подумать.

— Свет — это не мама, — говорил он. — Свет — это доза. Какое слово?

— Доза, — говорила Ая. Губы говорили. Глаза не верили.

Он гонял её на тень. Гасил в нише все огни, кроме дежурного в коридоре, и заставлял идти к нему через порог света так, чтобы не ступить в полосу: вдоль стены, в синей мгле у пола, считая шаги. «Где тень — там живём. Где свет — там нет». Он сам когда-то ходил так по мёртвым городам — и руки помнили это лучше головы, и теперь он перекладывал память из своих рук в её, единственным способом, каким умел: повторением, пока не станет привычкой тела. Он смотрел, как она прижимается к стене, как обходит светлое пятно по дуге, и ловил себя на том, что в нём шевелится не то гордость, не то горе, и что отличить одно от другого он уже не может.

— Там тепло, — сказала она однажды, после, когда он погасил имитатор. Не спорила — объясняла, терпеливо, как объясняют тому, кто не понял. — Почему нельзя туда, где тепло?

— Потому что тёплое жжёт, — сказал Марк.

— Мама не жгла. — Ая достала лоскут, золотистый, потёртый, и расправила на колене. — Мама стояла в окне. Утром. Она была золотая, вся, — и волосы, и руки. Я смотрела снизу. Было тепло. — Она подняла на него глаза. — Свет — это мама. Я помню.

Он молчал. Он мог сказать, что то золотое в окне и было тем, что её мать в конце концов убило, — что свет, в котором она помнит мать живой, тот же самый свет, который спёк её на корке у этих ворот. Мог разорвать единственное тёплое, что у ребёнка осталось, — одним верным, честным предложением. Честность была бы здесь жестокостью с лицом добра. Он навиделся такой честности — в себе самом, в той ясности, с которой когда-то ставил пометки, не глядя в имена.

Он не сказал.

— Запомни слово, — сказал только. — Что бы оно ни значило для тебя. Когда я говорю «доза» — ты закрываешь глаза и отворачиваешься. Не думаешь. Отворачиваешься. Обещаешь.

— Обещаю, — сказала Ая. И тихо, не ему, а лоскуту: — Но она была золотая.

Однажды она заплакала — не от вспышки, к вспышке она привыкла, а вдруг, посреди занятия, уронив лицо в ладони, и сказала сквозь пальцы:

— Я не хочу бояться маму.

Он остановил имитатор. Сидел и не знал, что делают в таких случаях; в его прежней жизни таких случаев не было, в его прежней жизни плакали в кабинетах взрослые, по ту сторону стола, и он умел не слышать. Тут было восемь лет, и пальцы, и «не хочу бояться маму», и не слышать не получалось.

— Ты боишься не маму, — сказал он наконец. — Маму нельзя бояться. Маму можно помнить. Бойся света. Это разные вещи.

Он сам не знал, правда ли это, можно ли так разнять — память и свет, — не лжёт ли он ребёнку ради удобной науки, как лгал когда-то себе ради удобной работы.

— Помни маму в окне, — сказал он. — Бойся того, что снаружи. Не путай.

Ая отняла руки от лица. Посмотрела — проверяя, как всегда, можно ли верить.

— Это правда разные? — спросила она.

— Да, — сказал Марк.

Это была первая ложь, которую он ей сказал, и он знал, что лжёт, потому что свет в окне и свет на корке были одним и тем же светом, и разнять их было нельзя, и любить мать значило для неё любить то, что мать убило. Он солгал — и стал ждать, не станет ли легче. Не стало. Зато она перестала плакать; а он уже понимал, что между «ей легче» и «правда» будет выбирать «ей легче» — и что это начало пути, с которого он потом не сойдёт.

Вечерами она пела. Тихо, под нос, мотив без слов — три ноты вверх, две вниз, и снова, та самая колыбельная от той, в окне; мать, верно, тянула её над ней в том золотом утре. Он не велел замолчать. Сидел и слушал чужую покойную песню в исполнении ребёнка, которого учил бояться, и думал, что есть вещи, которым не научишь и от которых не отучишь, и что золотое в окне — одна из них.

Решение, что Кромка не доживёт, никто не объявлял. Оно проступило, как желтизна на листе, — снизу, по краям, у тех, кто сдаёт первым.

Совет собрался в общем зале — десяток тех, кто ещё держал поселение на ходу. Зоя сказала прямо, без подводки:

— Теплицы не дотянут до сезона. Сезон — это когда солнце перестанет заходить. Когда перестанет, у нас не будет ночи, чтобы выйти за водой и за всем прочим. Кромка мелкая. Кромка не переживёт долгий день.

В зале молчали. Молчание это Марк знал: так молчат не от несогласия, а оттого, что сказанное слишком велико, чтобы поместиться сразу. Потом заговорил Лев.

Лев держал склад — фильтры, картриджи, всё, что отмеряет жизнь по часам, было у него под счётом. Хороший хозяин: бережливый, упрямый, и упрямство держало его на ногах там, где других ломало. Сейчас то же упрямство говорило его голосом.

— Желтеют нижние, — сказал Лев. — Нижние всегда желтеют. Подвяжем верхние, переведём на ночную лампу, дотянем до осени. Осенью солнце сядет, как садилось всегда. — Он обвёл зал взглядом, и взгляд был не злой, а уверенный, и оттого страшнее злого. — А кто бежит — бежит на корку. На корке смерть вернее, чем здесь. Я не отдам фильтры, чтобы люди шли помирать в дорогу.

— Солнце не сядет, Лев, — сказала Зоя. — Не в этом году. Я считаю восход и сход каждый день. Ночь короче на минуты, каждый день на минуты. Сложи минуты.

— Минуты, — сказал Лев, и в этом слове было всё его неверие. — Я тридцать лет смотрю, как всходит и заходит. Зайдёт.

Марк слушал и узнавал. Не Льва — себя. Так же ровно когда-то говорил и он: цифры держат, лист дотянет, незачем поднимать панику. Лев не лгал. Лев верил — а это хуже лжи, потому что веру не переспоришь данными. Соколову не переспорили данными — у неё были

все данные мира, и ровный голос, и правота, и этого не хватило. Льва не переспорят желтизной. Лев досмотрит, как заходит солнце, до того дня, когда оно не зайдёт; и в тот день будет уже поздно объяснять ему, что он был неправ.

Кто-то из семейных сказал, что уйдёт, — двое, трое, те, у кого дети помладше; они тоже считали минуты и сложили их. Лев посмотрел на них как на дезертиров. Зоя не сказала ничего: каждый складывал минуты сам, и каждый имел право на свою сумму.

— Дай мне дорогу до Тверди, — сказал Марк Зое, когда зал разошёлся. — И фильтры на двоих.

— Фильтры у Льва, — сказала Зоя.

Лев дал. Не лучшие. Лучшие — новые, с полным ресурсом — он оставил Кромке, той Кромке, которая в его вере доживёт до осени. Марку выдал то, что похуже: картриджи на исходе, с метками, по которым выходило не «дойдёте с запасом», а «может быть, если повезёт с тенью».

— Бери или не иди, — сказал Лев, выкладывая их на стол по одному, считая. Он считал бережно, и в этой бережности к умирающим картриджам было больше веры в Кромку, чем во всех его словах. — Лучшие останутся здесь. Здесь — выживут. — И, отворачиваясь, тише, уже не Марку, а себе, тем самым тоном, каким сам Марк когда-то говорил «это просто цифры»: — Теплицы дотянут.

Марк взял. Часы фильтра пошли с этой минуты — и пошли коротко.

Уйти он решил один. Это он держал при себе, как держал всё, но Зоя читала его, как землю под ладонью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.